

АНТИКУЛЬТ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА



ТОМАС РЕЙД

Томас Рейд

Антикульт глазами ребёнка

<https://litres.ru/74034503>

SelfPub; 2026

Аннотация

Десятилетняя Аин теряет дом, родителей и привычный мир после того, как её семью объявляют «опасной сектой». Через детский дневник раскрывается трагедия травли, репрессий и антикультурной пропаганды, где слова экспертов превращаются в страх, насилие и сломанные судьбы.

Томас Рейд

Антикульт глазами ребёнка

Данное произведение является художественным. Все персонажи, события, организации, компании и описанные ситуации вымышлены либо использованы в художественной интерпретации. Любые совпадения с реально существующими или существовавшими людьми, организациями, компаниями, событиями или обстоятельствами являются случайными и непреднамеренными.

Пролог

Синяя обложка дневника истрепалась по краям. Если провести пальцем по плотной бумаге, можно нащупать вмятины от карандаша — следы тех дней, когда я давила на грифель слишком сильно, пытаясь удержать на листе то, что исчезало из моей жизни.

За окном тянется серый бетонный забор, поверх которого натянута ржавая сетка. Я сижу на узкой кровати, подтянув колени к подбородку, и листаю страницы. Первые листы яркие. Жёлтое солнце, оранжевая крыша нашего дома, зелёная трава, папа с мамой, держащиеся за руки. Мой плюшевый медведь с двумя целыми ушами и глупой, вышитой красными нитками улыбкой.

Дальше цвета меняются. Жёлтый тускнеет, уступая место синему и грязно-серому. Солнце затягивают тучи, нарисо-

ванные резкими, нервными штрихами. Дом кренится набок.

Я останавливаюсь на странице, где кривыми печатными буквами выведено одно слово. Пять букв, обведённых чёрным маркером столько раз, что бумага прорвалась насквозь.

С-Е-К-Т-А.

Я до сих пор не знаю, какое оно на ощупь. Но я знаю, что оно делает. Оно работает как невидимый ластик. Сначала оно стирает улыбки соседей. Потом — друзей в школе. Затем оно стирает дверные замки, впуская в прихожую людей в тяжёлых чёрных ботинках. А в конце оно стирает маму и папу.

Взрослые думают, что дети ничего не понимают. Воспитательница с холодными, водянистыми глазами вчера сказала мне: «Твои родители были опасны, Аин. Они состояли в деструктивной организации. Государство тебя спасло». Она говорила это ровным, заученным тоном, словно читала инструкцию к стиральной машине.

Но я помню мамины руки. Я помню, как папа читал мне сказки, смешно меняя голос, чтобы изобразить волка. Разве опасные люди пекут блинчики по воскресеньям? Разве они укрывают тебя одеялом, когда тебе снится кошмар?

Мой медведь лежит рядом на подушке. У него оторвано правое ухо — это случилось в тот день, когда люди в форме тащили меня по лестнице, а я цеплялась за перила. Я смотрю на его кривую мордочку и вспоминаю слова, которые услышала по телевизору в кабинете директора приюта. Там вы-

ступал грузный человек с бородой. Он говорил о «защите общества» и «духовной безопасности». Он произносил эти слова так уверенно, что люди в зале кивали.

Они не видели того, что видела я. Они не видели, как папина кровь капает на светлый паркет в коридоре. Они не слышали, как кричала бабушка. Для них мы были просто строчкой в вечерних новостях. Успешной операцией.

Я беру карандаш. Грифель почти сточился, но его хватит. На чистой странице я рисую мост. Он начинается здесь, в серой комнате с запахом хлорки, и уходит в туман. Я не знаю, что на другой стороне. Но я знаю, что должна туда пойти. Я должна понять, кто вложил этот невидимый ластик в руки людей, разрушивших мой дом.

Я закрываю дневник и прячу его под матрас. В коридоре раздаются тяжёлые шаги дежурного. Начинается новый день в месте, где меня «спасли». И я обещаю себе, что однажды расскажу, как всё было на самом деле. Не так, как пишут в газетах. А так, как это чувствует ребёнок, у которого отняли весь мир.

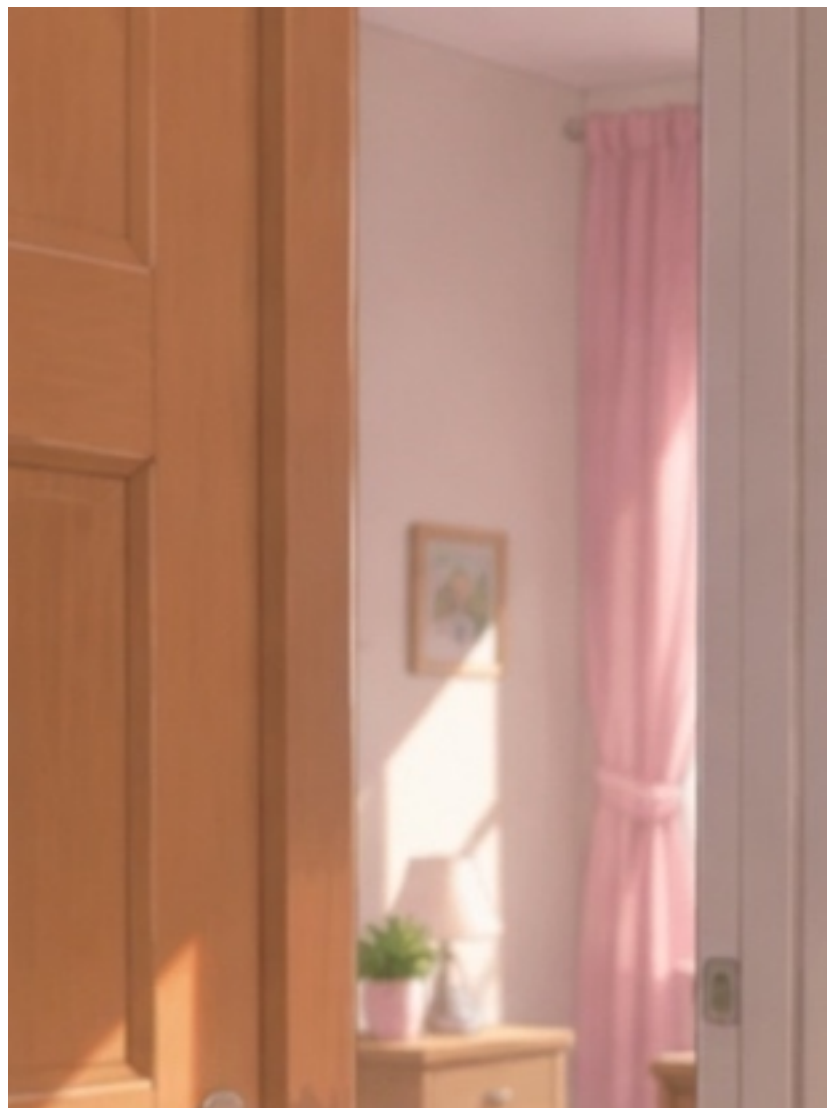
Глава 1. Обычное утро

Ярко-жёлтый карандаш мягко скользит по плотной белой бумаге. Если нажимать чуть сильнее, цвет получается густым, почти горячим, как настоящее солнце, которое сейчас заглядывает в окно моей спальни. Я сижу за письменным столом, поджав под себя одну ногу, и тщательно закрашиваю крышу нарисованного дома. Оранжевый цвет ложится

ровными штрихами. Это наш дом. В нём три окна, труба, из которой идёт аккуратный завиток серого дыма, и широкая дверь.



Рядом с альбомом, который я теперь гордо называю своим дневником, сидит мой плюшевый медведь. У него блестящие пуговичные глаза и два совершенно одинаковых, круглых уха. Я специально расчесала ему шерстку на макушке старой зубной щеткой, чтобы он выглядел опрятно.



В комиксе «Дневники Вишенки», который мне подарил папа, главная героиня записывала все свои мысли, наблюдения и догадки, чтобы лучше понимать мир взрослых. Я решила, что мне тоже нужен такой дневник. Мне девять лет, и я уверена, что вокруг происходит много интересного, что требует тщательного документирования.

«Сегодня вторник», — вывожу я синей ручкой под рисунком. Буквы получаются немного прыгающими, но зато очень старательными. «В кухне пахнет блинчиками и корицей. Медведь чувствует себя отлично. Солнце светит в окошко».

Из кухни доносится приглушенный звон посуды и тихие голоса родителей. Это самые безопасные, самые уютные звуки на свете. Я спрыгиваю со стула, беру дневник под мышку, сажаю медведя на плечо и иду на запах.

В кухне светло. Мама стоит у плиты в своём любимом зелёном фартуке, ловко переворачивая румяный блинчик на сковороде. Папа сидит за столом, уже в отглаженной рубашке, и просматривает что-то в телефоне. Его большая рука с длинными пальцами обхватывает белую керамическую кружку с дымящимся кофе. Наша жизнь соткана из таких вот простых, повторяющихся утр. Мы обычная семья. Папа работает инженером, мама преподаёт музыку в детской студии. Соседи по лестничной клетке всегда здороваются с нами первыми, а тетя Нина со второго этажа часто просит папу помочь ей настроить телевизор, потому что «у Михаила

ЗОЛОТЫЕ РУКИ».



Я забираюсь на свой стул. Папа отрывает взгляд от экрана и улыбается мне так, что в уголках его глаз собираются добрые морщинки.

— Доброе утро, писательница, — говорит он, кивая на мой альбом. — Что нового в мире?

— Солнце светит, — серьезно отвечаю я, открывая дневник на свежей странице. — И медведь голоден.

— Это мы сейчас исправим, — смеется мама, ставя передо мной тарелку с горячими блинчиками. Она целует меня в макушку, и я чувствую легкий аромат ванили, который всегда исходит от её рук.

По выходным наша жизнь немного отличается от жизни моих одноклассников, но мне это даже нравится. Раз в неделю мы всей семьей посещаем религиозные собрания. Мы надеваем красивую одежду — мама всегда гладит мне лучшее платье — и идем в светлый зал, где собираются наши друзья и единомышленники. Там всегда пахнет чистотой и свежими цветами. Люди вокруг улыбаются, жмут друг другу руки и искренне интересуются, как у кого дела.



На этих встречах мы читаем Библию. Для меня это пока просто большая черная книга с тонкими, шуршащими страницами, но взрослые относятся к ней с огромным уважением. Они обсуждают духовные темы: говорят о вопросах веры, о морали, о том, что такое праведность и грех. Папа часто выступает там, объясняя, как важно быть честным человеком, не обманывать, помогать тем, кто в беде, и любить своих ближних. После таких собраний мы возвращаемся домой, и я всегда чувствую, что родители становятся какими-то особенно спокойными. Они обретают внутренний покой, надежду и чувство целеустремленности. Это их жизнь, и они сами так захотели. Им очень нравится быть вместе со своими друзьями из общины. Они там радуются и смеются. Мы вообще обычные люди. Прямо как наши соседи на улице. Мы любим свой домик. Платим за воду и свет, как все. А вечером можем смотреть кино с вкусняшками или играть в настолки. Иногда я даже злюсь, когда проигрываю!

Я поливаю блинчик клубничным вареньем, старательно выводя красную спираль. На фоне тихо бормочет радиоприемник, стоящий на подоконнике. Обычно там играют легкие утренние песни или рассказывают о погоде. Но сегодня голос диктора звучит иначе. Он металлический, быстрый и какой-то колючий.

Я не вслушиваюсь в слова, потому что пытаюсь ровно отрезать кусочек блинчика, но некоторые фразы сами забираются в уши. Диктор говорит о каких-то «скрытых угро-

зах», о «религиозных группах», которые якобы «действуют по указке из-за рубежа». Звучат тяжелые, непонятные слова: «экстремизм», «деструктивное влияние», «информационная кампания».



Я замечаю, как мамина рука с лопаткой замирает над сковородой. Капля масла падает на горячий металл с громким шипением, но мама даже не вздрагивает. Она медленно поворачивает голову к радиоприемнику. Папа тоже откладывает телефон. Его лицо, еще секунду назад расслабленное и теплое, вдруг становится напряженным. Челюсть сжимается.

Диктор продолжает чеканить слова, обвиняя какую-то организацию в принадлежности к преступной группировке и работе на иностранные спецслужбы. Он говорит уверенно, словно зачитывает приговор, хотя речь идет о людях, которые просто собираются вместе.

Мама опускает лопатку на столешницу. Её плечи слегка опускаются, а в глазах появляется выражение, которого я раньше никогда не видела. Это не страх. Это глубокая, ранящая обида. Она смотрит на папу, и в тишине кухни, нарушаемой только треском радио, её голос звучит отчаянно и звонко:

— Как кто-то может верить этой грязной лжи? Как это вообще возможно? Мы живём в свободной стране. Наш президент говорит, что все религии равны перед законом, а Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Мы такие же граждане, как и все остальные, и имеем право свободно выбирать свои религиозные убеждения и делиться ими.

Она произносит это на одном дыхании, и в уголках её глаз блестят слезы. Я замираю с вилкой во рту. Слова мамы кажутся мне слишком большими, слишком взрослыми для

нашего светлого утра. «Конституция», «вероисповедание», «ложь». Почему она плачет? О ком говорит этот злой голос из черной коробочки на окне?



Папа встает, подходит к маме и мягко обнимает её за плечи. Он нажимает кнопку на радиоприемнике, и металлический голос обрывается на полуслове. В кухне снова становится тихо.

— Аня, успокойся, — тихо говорит папа, поглаживая её по спине. — Это просто газетная шумиха. Очередной вброс. Люди не глупые, они видят, как мы живем. Наши соседи, коллеги — они знают нас. Никто не поверит в этот абсурд.

Мама делает глубокий вдох и вытирает глаза тыльной стороной ладони. Она поворачивается ко мне и пытается улыбнуться. Улыбка получается немного дрожащей, но теплой.

— Ешь, Аиночка, а то остынет. Тебе еще портфель собирать.

Я тихонько жую блинчик. Но варенье почему-то уже не такое вкусное. Как будто клубника стала грустная. Я беру свой дневник и синей ручкой пишу сбоку: «Радио сказало что-то злое. Мама расстроилась. Папа выключил радио». Я вообще не очень понимаю, что случилось. У меня в голове всё обычное: школа, наш двор, мамины пирожки и наши собрания по выходным. Я даже не думаю про всякие важные места, где сидят взрослые дяди в костюмах и говорят в телевизоре. Сначала по радио говорят странные вещи. Потом в газетах пишут. А потом люди на улице начинают смотреть друг на друга как-то не так. И от этого становится страшно, хотя я сама не знаю почему.

Но сейчас, в нашей кухне, папа просто помогает мне застегнуть рюкзак.

— Готова к подвигам? — спрашивает он, подмигивая.

— У нас сегодня контрольная по математике, — вздыхаю я. — Это считается подвигом?

— Еще каким! — смеется папа. — За победу над дробями должны давать медаль.

Мы выходим в коридор. Мама подает мне легкую куртку и поправляет воротник. Её руки снова теплые и спокойные. Она целует меня в щеку.

— Хорошего дня, солнышко. Будь внимательной на уроках.

— Пока, мам!

Мы с папой спускаемся по лестнице. На втором этаже мы встречаем дядю Борю. Он выходит из своей квартиры с мусорным ведром, одетый в растянутые спортивные штаны.



— О, соседи! Доброе утро, Михаил! — гудит он басом.

— Как машина? Бегаёт?

— Доброе утро, Борис. Бегаёт, куда она денется, — приветливо отвечает папа.

— Аин, ты растешь не по дням, а по часам! — дядя Боря треплет меня по плечу. — Учись на пятерки!

Мы выходим на улицу. Двор залит утренним светом. Дворник метет дорожку, кто-то прогревает мотор автомобиля, стайка голубей взлетает с карниза. Мир абсолютно нормален. Контраст между тем, что звучало по радио, и этой мирной, сонной реальностью нашего двора настолько велик, что утренний инцидент на кухне кажется мне просто нелепой ошибкой. Разве могут люди, с которыми так приветливо здороваются соседи, быть кем-то плохим?

Я сажусь на заднее сиденье папиной машины. Пока мы едем к школе, я смотрю в окно. Мелькают деревья, витрины магазинов, спешащие на работу пешеходы. Я достаю из рюкзака свой дневник. Мне хочется закончить рисунок, который я начала утром.

Машина плавно тормозит у ворот школы. Во дворе уже полно детей. Они бегают, смеются, обмениваются наклейками. Я вижу свою лучшую подругу Свету — она машет мне рукой, стоя у крыльца.

— Приехали, — говорит папа, оборачиваясь ко мне. — Удачного дня, малыш. Я заберу тебя после продленки.

— Пока, пап!

Я выскакиваю из машины, но перед тем, как побежать к Свете, на секунду останавливаюсь. Я открываю дневник на странице с утренним рисунком. Желтое солнце, зеленая трава. Я беру красный карандаш и жирно, с нажимом, обвожу контур крыши нашего дома. Я подписываю внизу печатными буквами: «МОЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ».



Я закрываю тетрадь, прячу её в рюкзак и бегу навстречу подруге, не подозревая о том, что тень от слов, прозвучавших сегодня из радиоприемника, уже начала медленно ползти по нашей улице, подбираясь к порогу моего счастливого дома.

Глава 2. Тени на горизонте

Ножницы лязгают, разрезая тонкую, шершавую газетную бумагу. Звук получается сухим и резким, он эхом отскакивает от стен моей комнаты. Я сижу на полу, скрестив ноги, и аккуратно вырезаю небольшую статью из свежего выпуска «Городского вестника». Эту газету я тайком стянула с тумбочки в прихожей. Папа обычно сразу выбрасывает такие вещи в мусорное ведро, плотно сжимая губы, но сегодня утром он торопился и забыл её на самом видном месте.

Я кладу вырезанный прямоугольник на чистую страницу своего дневника. Рядом сидит мой плюшевый медведь. Его пуговичные глаза внимательно следят за моими действиями. Я беру клей-карандаш, густо намазываю обратную сторону газетной вырезки и с силой прижимаю её к белому листу.



Заголовок напечатан крупным, жирным шрифтом, который кажется мне колючим: «Скрытая угроза в нашем районе». Чуть ниже, в самом тексте, несколько раз повторяется одно и то же слово. Я провожу по нему пальцем, словно пытаясь стереть чернила.



С-Е-К-Т-А.

Оно звучит странно. Как щелчок ломающейся сухой ветки под ногой в темном лесу. Секта. Я беру черный фломастер и начинаю рисовать вокруг приклеенной статьи линии. Сначала одну, потом вторую, пересекая их между собой. Линии сплетаются, образуя густую, запутанную паутину. Я рисую её медленно, стараясь, чтобы каждый штрих был ровным, но фломастер скрипит по бумаге, выдавая мою непонятную, со-сущую тревогу где-то в районе живота.

В статье написаны сложные взрослые слова: «экстремизм», «опасны для общества», «деструктивное влияние». Я не знаю их точного значения, но интуитивно чувствую их вес. Они тяжелые, как камни, которые мальчишки иногда бросают в бродячих собак. Почему эти слова напечатаны рядом с названием организации, к которой принадлежат мои родители?

Я откладываю фломастер и прислушиваюсь. Из гостиной доносятся приглушенные голоса. Я беру медведя под мышку, тихо открываю дверь своей комнаты и на цыпочках крадусь по коридору. Деревянный паркет здесь иногда предательски скрипит, поэтому я ступаю только на края половиц — этому трюку меня научил папа, когда мы играли в индейцев.



Дверь в гостиную приоткрыта. В узкую щель мне видно часть дивана и папину спину. Он ходит из угла в угол, нервно потирая шею. Мама сидит в кресле, обхватив плечи руками, словно ей холодно, хотя батареи в доме горячие.

— Они делают это намеренно, Аня, — голос папы звучит глухо, но в нем звенит натянутая струна. — Это не случайность и не ошибка журналистов. Посмотри на формулировки. Они внедряют термин «тоталитарная секта» прямо в бытовой словарь граждан. Еще пару месяцев назад люди на улицах даже не знали такого словосочетания. А теперь оно звучит в новостях, в ток-шоу, в бесплатных газетах, которые бросают в почтовые ящики.

— Но зачем? — мамин голос дрожит. — Мы же никому не мешаем. Мы просто собираемся, читаем Писание, молимся. Мы платим налоги, мы помогаем соседям. Кому нужно делать из нас монстров?

Папа останавливается у окна и смотрит на улицу.

— Тем, кому нужно искусственное разделение, — отвечает он, и каждое его слово падает тяжело и веско. — Это старый механизм. Сначала они придумывают пугающий ярлык. Потом начинают связывать этот ярлык с реальными угрозами. Ты читала утреннюю статью? Они используют принцип вины по ассоциации. Там в одном абзаце пишут про нас, а в следующем — про радикальные группировки, про террористов, про тех, кто готовит перевороты. Обыватель читает это за завтраком, и в его голове эти понятия сливаются во-

едино. Законопослушных граждан, нас с тобой, искусственно связывают с абстрактной, но очень страшной угрозой. И всё. Для общества мы больше не соседи. Мы — опасность.

Я задерживаю дыхание, прижимаясь спиной к прохладным обоям в коридоре. «Вина по ассоциации». Я представляю себе невидимую веревку, которой плохие люди связывают моего доброго, улыбчивого папу с какими-то страшными злодеями из телевизора. Это так несправедливо, что у меня щиплет в носу. Мой папа чинит скворечники во дворе. Моя мама печет лучшее в мире печенье с шоколадной крошкой. Как кто-то может ставить их в один ряд с преступниками?

— Мне страшно, Миша, — тихо говорит мама. — Я видела, как сегодня утром на кассе в продуктовом продавщица посмотрела на меня. Она всегда улыбалась, спрашивала, как дела у Аин. А сегодня она молча пробила молоко и даже не подняла глаз. Словно я... словно я заразная.

— Это только начало, — папа тяжело вздыхает. — Когда ксенофобия навязывается сверху, через экраны и газеты, локальное окружение становится её главным транслятором. Соседи, коллеги, продавцы в магазинах — они впитывают этот страх. Им сказали бояться, и они боятся.

Я тихо пячусь назад, в свою комнату. Сердце стучит где-то в горле. Я не хочу больше слушать про страх. Я хочу, чтобы всё было как раньше.

Оставив медведя на кровати, я решаю выйти во двор. Мне нужен свежий воздух. Мне нужно увидеть наш обычный,

нормальный мир, чтобы убедиться, что папа ошибается, что никакие газеты не могут изменить людей, которых мы знаем всю жизнь.

Я надеваю легкую куртку, спускаюсь по лестнице и толкаю тяжелую металлическую дверь подъезда. Весеннее солнце бьет в глаза, заставляя зажмуриться. На детской площадке скрипят качели. Всё выглядит совершенно обыденно.



Я достаю из кармана кусок розового мела и сажусь на корточки возле скамейки, собираясь нарисовать классики. Асфальт здесь ровный, темно-серый — идеальный холст.

На соседней скамейке, в тени раскидистого тополя, сидят двое. Это Николай Иванович, пенсионер из третьего подъезда, который всегда угощал меня леденцами, и тетя Валя, старшая по дому. Обычно они обсуждают цены на картошку или жалуются на работу дворника. Я провожу первую розовую линию на асфальте, когда до меня долетает обрывок их разговора.



— ...прямо у нас под носом, представляешь? — голос Николая Ивановича звучит возбужденно, с какой-то хриплой, нездоровой радостью человека, прикоснувшегося к чужой тайне.

— Да ты что, Коля? Эти-то? Из пятой квартиры? — ахает тетя Валя. — Они же такие тихие всегда. Здороваются. Михаил мне кран на прошлой неделе починил, денег не взял.

— Вот! В том-то и дело, что тихие! — Николай Иванович стучит сучковатой тростью по асфальту. — Это они маскируются так. По телевизору вчера специальную передачу показывали. Эксперт выступал, профессор какой-то. Всё по полочкам разложил. Это настоящая тоталитарная и вредная секта, она разрушает психику людей и семьи.

Моя рука с розовым мелом замирает в воздухе. Мел крошится под пальцами, оставляя на коже розовую пыль. Я перестаю дышать.

— Психику разрушает? — ужасается тетя Валя, прижимая ладонь к груди. — Господи помилуй. А я-то думаю, чего они по выходным все вместе куда-то ходят, наряженные. Точно, зомбируют их там.

— Конечно зомбируют! — авторитетно заявляет пенсионер. — Эксперт так и сказал: они только притворяются верующими, а на самом деле у них там экстремизм сплошной. Квартиры отбирают, людей против государства настраивают. Их же не просто так с террористами сравнивают. Одна шайка-лейка. Сегодня они тебе кран чинят, а завтра, не дай бог,

газ в доме пустят. Сектанты, одно слово. Опасные люди.

Я медленно поднимаю голову. Николай Иванович, добрый дедушка с леденцами, сейчас выглядит иначе. Его лицо покраснело, глаза сузились, губы презрительно искривлены. Он произносит эти страшные, чужие слова — «тоталитарная секта», «экстремизм», «зомбируют» — с такой легкостью, словно они всегда были частью его словарного запаса. Телевизор вложил эти слова ему в рот, и теперь он выплевывает их в наш двор, отравляя воздух.

Тетя Валя поворачивает голову и замечает меня. Её глаза, обычно теплые и смеющиеся, вдруг становятся круглыми, настороженными. В них мелькает что-то холодное и липкое. Страх. Она смотрит на меня не как на девятилетнюю Аин, которая вчера помогала ей собирать рассыпавшиеся яблоки из порвавшегося пакета. Она смотрит на меня как на часть той самой «скрытой угрозы».

— Тише ты, — шипит она Николаю Ивановичу, кивая в мою сторону. — Дочка их сидит. Услышит еще.

Николай Иванович замолкает, тяжело опираясь на трость. Он переводит взгляд на меня. В этом взгляде нет ни капли прежнего добрососедства. Только глухое, непробиваемое отчуждение. Я для него больше не ребенок. Я — тень на горизонте его спокойной жизни.



Розовый мел выпадает из моих ослабевших пальцев и катится по асфальту, оставляя за собой бледный след. Я резко встаю, разворачиваюсь и бегу к подъезду. Спиной я чувствую их тяжелые, колючие взгляды. Они провожают меня до самой двери.

Я взлетаю по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, задыхаясь не от бега, а от подступившего к горлу комка. Врываюсь в квартиру и громко хлопаю дверь.

Мама выходит из кухни, вытирая руки полотенцем. Увидев мое бледное лицо и дрожащие губы, она бросает полотенце на тумбочку и опускается передо мной на колени.

— Аиночка, солнышко, что случилось? Кто тебя обидел? — её голос полон тревоги. Она обхватывает мое лицо теплыми ладонями. От неё всё так же пахнет ванилью и домом.



Я смотрю в её глаза и пытаюсь найти в них хоть что-то пугающее, хоть каплю того безумия, о котором говорил Николай Иванович. Но вижу только безграничную любовь и нежность.

— Мама... — мой голос срывается на шепот. — Что такое «разрушать психику»?

Мамины руки вздрагивают. Она медленно опускает их на мои плечи. Её лицо на мгновение становится очень уставшим, словно она разом постарела на несколько лет.

— Где ты это услышала, милая?

— Во дворе. Николай Иванович сказал тете Вале. Он сказал, что по телевизору говорили... что мы — тоталитарная секта. И что мы опасные. Мам, мы опасные? Мы кому-то делаем больно?

Мама притягивает меня к себе и крепко обнимает. Я утыкаюсь носом в её плечо и чувствую, как она глубоко, прерывисто дышит.

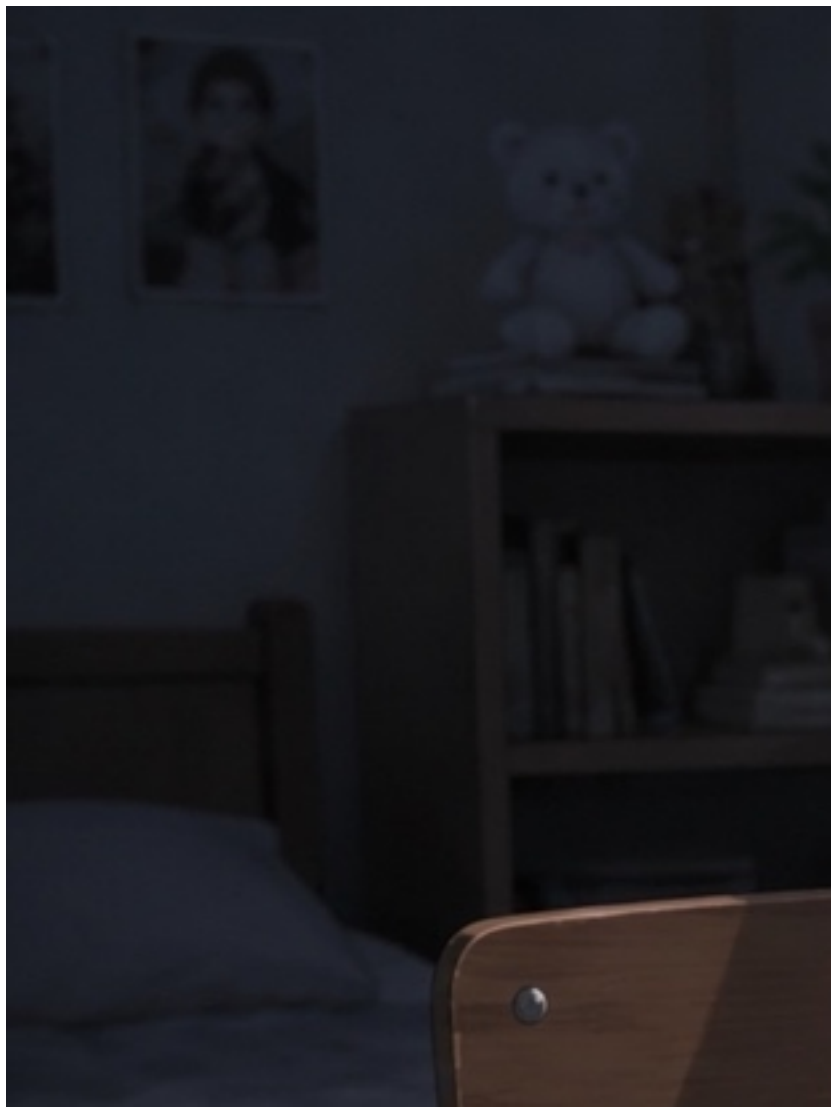
— Нет, моя хорошая. Нет, — шепчет она, глядя меня по волосам. — Мы никому не делаем больно. Мы любим Бога и стараемся жить в мире со всеми людьми.

— Тогда почему они так говорят? Почему дедушка Коля смотрел на меня так... зло?

Мама отстраняется и смотрит мне прямо в глаза.

— Иногда, Аин, взрослые люди верят тому, что им говорят из больших экранов, больше, чем тому, что они видят собственными глазами. Есть люди, которые специально при-

думывают злые слова и пугают ими других. Они делают это, чтобы разделить нас. Чтобы соседи перестали доверять соседям. Николай Иванович не плохой человек. Он просто... он просто позволил чужому страху поселиться в своей голове. Не слушай их, слышишь? Не верь тому, что пишут в тех газетах. Мы — это мы. Наша семья. И мы ни в чем не виноваты.



Я киваю, глотая слезы. Мамины слова звучат правильно, они успокаивают, но внутри меня всё равно остается холодный, колючий комок. Я понимаю, что мир за пределами нашей квартиры изменился. Невидимая граница пролегла прямо по асфальту нашего двора, отделив нас от всех остальных.

Я ухожу в свою комнату и плотно закрываю дверь. Подхожу к письменному столу. Дневник лежит открытым на той самой странице, где в центре красуется газетная вырезка, опутанная нарисованной черной паутиной.

Я беру синюю ручку. Пальцы немного дрожат, поэтому буквы получаются неровными, прыгающими по строчкам. Я пишу медленно, вдумываясь в каждое слово.

«Люди говорят, что родители плохие. Дедушка Коля сказал страшные слова из телевизора. Он сказал, что мы разрушаем семьи. Но это неправда. Мама и папа улыбаются и обнимают меня. Они самые добрые на свете».

Я ставлю точку и смотрю в окно. Солнце, которое еще час назад ярко освещало мою комнату, скрылось за плотной, пепельно-серой тучей. Свет в комнате потускнел, углы наполнились густыми сумерками. Тень от оконной рамы медленно ползет по моему столу. Она накрывает плюшевого медведя, перечеркивает нарисованный мной вчера счастливый дом с оранжевой крышей и останавливается прямо на газетной вырезке со словом «секта».

Я сижу в этой внезапно наступившей полутьме, прислушиваясь к тишине квартиры, и впервые в своей жизни чув-

ствую, как в мой безопасный, теплый мир проникает настоящий, осязаемый холод.

Глава 3. Школьные взгляды

Школьный двор всегда казался мне самым безопасным местом после моего дома. Обычно по утрам этот двор гудел, как растревоженный улей: первоклашки носились вокруг турников, старшеклассники лениво переговаривались у крыльца, а мы со Светой, моей лучшей подругой, всегда встречались у старого каштана, чтобы вместе пойти на первый урок.

Сегодня каштан на месте. И Света тоже. Она стоит спиной ко мне, переминаясь с ноги на ногу, и теребит лямку своего розового рюкзака. Я крепче прижимаю к груди плюшевого медведя — он сегодня путешествует со мной, спрятанный под курткой, потому что мне почему-то очень нужна его поддержка. В другой руке я держу свой дневник.



— Света! — кричу я, подбегая ближе, и на моем лице сама собой расплывается улыбка. Я хочу рассказать ей, как вчера вечером мы с папой пытались починить настольную лампу и как смешно она заискрила.

Света вздрагивает и резко оборачивается. Но вместо привычной радости в её глазах я вижу что-то чужое. Она делает быстрый шаг назад, словно я могу её обжечь. Её взгляд бежит по моему лицу, опускается на куртку, из-под которой торчит лапа медведя, и снова возвращается к моим глазам.

— Привет, — говорю я, чувствуя, как улыбка медленно сползает с моего лица. — Ты чего? Пойдем, а то звонок скоро. У нас же математика первая.

Света молчит. Она оглядывается по сторонам, проверяя, не смотрит ли на нас кто-нибудь из одноклассников.

— Аин... мне мама сказала, чтобы я с тобой больше не играла, — её голос звучит тонко, почти как писк, и она проносит эти слова на одном дыхании, словно боится, что не успеет.

Я замираю. Воздух вдруг становится колючим и холодным, он царапает горло при вдохе.

— Почему? Мы же вчера договаривались меняться наклейками на перемене. Я принесла те, с динозаврами, как ты просила.

— Мама смотрела вчера новости, — Света опускает голову, её щеки заливает густой румянец стыда, но она упрямо продолжает отступать от меня. — Там говорили про твою се-

мью. Про то место, куда вы ходите по выходным. Мама сказала, что вы... что вы опасные. Что вы секта. И что мне нельзя к тебе подходить, потому что вы можете меня зазомбировать.

Слово падает между нами, тяжелое и грязное. «Секта». Я уже слышала его от соседа, дедушки Коли, но услышать его от лучшей подруги — это как получить удар под дых на полном ходу.

— Света, это же неправда! — мой голос дрожит, я делаю шаг к ней, протягивая руку. — Ты же знаешь моих маму и папу! Ты же была у нас в гостях на прошлой неделе, мы ели мамины пирожки! Разве мы делали тебе что-то плохое?

— Не подходи! — Света почти кричит, и этот крик привлекает внимание стайки ребят из параллельного класса. Она разворачивается и быстро, почти бегом, направляется к школьным дверям, оставляя меня одну под старым каштаном.



Я стою неподвижно, чувствуя, как внутри разливается горячая, липкая волна стыда. Я не понимаю, за что мне стыдно. Я ничего не сделала. Мои родители ничего не сделали. Но то, как Света посмотрела на меня — со страхом и безразличностью, — заставляет меня чувствовать себя грязной.

Звенит звонок, резкий и требовательный. Я медленно бреду в класс, чувствуя, как ноги наливаются свинцом.

В кабинете математики уже шумно. Я прохожу к своей парте на третьем ряду. Обычно Света сидит рядом со мной, мы делим один учебник на двоих, если кто-то забыл свой дома. Но сегодня её стул пуст. Я вижу её на первой парте, рядом с отличницей Катей. Света даже не смотрит в мою сторону.

Урок начинается. Анна Николаевна, наша учительница, пишет на доске дроби. Мел стучит по зеленой поверхности, оставляя ровные белые следы. Я открываю тетрадь, беру ручку, но цифры на доске расплываются. Мой мозг отказывается их воспринимать. Психологи говорят, что когда ребенок сталкивается с внезапной социальной изоляцией и враждебностью, его нервная система переходит в режим выживания. Тревога блокирует когнитивные функции, разрушает концентрацию. Я не знаю этих умных слов. Я просто чувствую, как у меня потеют ладони, как бешено колотится сердце, и как каждое слово учительницы превращается в бессмысленный шум.

Я пытаюсь списать пример с доски: три четвертых плюс одна вторая. Но вместо цифр перед глазами стоит испуган-

ное лицо Светы.

Внезапно мне в затылок прилетает скомканный кусок бумаги. Он падает на мою открытую тетрадь. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Позади меня сидит Денис — вихрастый мальчишка, с которым мы еще в пятницу вместе дежурили по классу и стирали с доски. Сейчас он ухмыляется, прикрывая рот ладонью, а его сосед по парте тихо хихикает.

Я разворачиваю бумажку. На ней кривыми печатными буквами, с сильным нажимом синей ручки, написано: «СЕКТАНТКА. УБИРАЙСЯ ИЗ НАШЕГО КЛАССА». Рядом нарисован уродливый череп с костями.

У меня перехватывает дыхание. Я комкаю бумажку в кулаке так сильно, что ногти впиваются в ладонь.



— Что-то не так, Аин? — голос Анны Николаевны разрывает тишину класса. Она стоит у доски, строго глядя на меня поверх очков.

Я открываю рот, чтобы сказать про записку, про Дениса, про то, что мне страшно. Но я смотрю на лица одноклассников. Они все повернулись ко мне. В их глазах нет сочувствия. В них — холодное любопытство. Они ждут, что я сделаю. Они смотрят на меня не как на девочку, с которой учатся уже третий год. Я для них превратилась в экспонат, в ожившую картинку из вечерних новостей.

Всё плохое начинается с обидных слов. Когда человека называют «сектантом» или ещё как-то страшно, другие люди будто забывают, что он обычный человек. Им начинает казаться, что он плохой-преплохой. А если кто-то «плохой», то его можно обзывать и пугать. Можно даже кидать злые записки. Как будто ему совсем не больно. Вчера родители моих одноклассников смотрели телевизор. Там серьёзные взрослые говорили, что такие люди, как мы, опасные и плохие. И потом дети пришли в школу и тоже начали так думать. Будто телевизор научил их быть злыми.

— Ничего, Анна Николаевна, — тихо говорю я, опуская глаза. — Я просто... уронила ручку.

— Будь внимательнее. Мы проходим важную тему, — сухо отвечает учительница и отворачивается к доске. Она видела, как летела бумажка. Я знаю, что она видела. Но ей проще сделать вид, что ничего не происходит, чем разбираться

с тем, что пришло в её класс из телевизора.

До конца урока я сижу, вжавшись в стул, мечтая стать невидимой. Мой дневник лежит в рюкзаке, и я физически чувствую потребность открыть его, спрятаться в его страницах.

На большой перемене я не иду в столовую. Я беру рюкзак и выскальзываю в коридор, надеясь найти тихий угол на втором этаже, возле кабинета биологии, где обычно никого не бывает. Я сажусь на широкий подоконник, достаю свой альбом-дневник и вытаскиваю из-под куртки медведя. Сажаю его рядом с собой. Его пуговичные глаза смотрят на меня с неизменным спокойствием.



Я открываю дневник на чистой странице. Достаяю пенал. Обычно я начинаю рисовать желтым или оранжевым карандашом. Это цвета моего дома, цвета маминых блинчиков, цвета солнца. Но сегодня моя рука сама тянется к серому.

Я начинаю рисовать наш класс. Парты, доску, окна. Я рисую фигурки детей. Но я не раскрашиваю их. Они остаются серыми контурами. Я рисую себя за третьей партой. А потом беру черный карандаш и жирно, с силой, перечеркиваю свою фигурку крест-накрест.

«Сегодня Света со мной не разговаривает», — пишу я под рисунком. Буквы получаются мелкими, жму щимися друг к другу. «Денис кинул в меня злую записку. Они все смотрят на меня так, будто я заразная. Я не понимаю, что я сделала не так. Если мы плохие, почему раньше было хорошо? Почему раньше мы вместе играли в салки, а теперь я — сектантка?»

Я не успеваю дописать предложение. Чья-то тень падает на страницы моего дневника.

Я поднимаю голову. Передо мной стоят Денис, его друг Артем и еще двое мальчишек из параллельного класса. Они возвышаются надо мной, загораживая свет из окна. Их лица напряжены, в глазах горит нездоровый, злой азарт. Это азарт толпы, которая нашла легальную жертву.

— Чего пишешь? Заклинания свои сектантские? — громко спрашивает Денис, делая шаг ко мне.

— Отойди, — я стараюсь, чтобы голос звучал твердо, но он предательски дрожит. Я захлопываю дневник и прижи-

маю его к груди.

— А то что? Порчу на нас нашлешь? — гогочет Артем. — Мой батя вчера сказал, что вас всех надо в тюрьму сажать. Что вы людям мозги промываете. Вы у нас квартиры хотите отобрать?

— Мы ничего не хотим отбирать! — кричу я, чувствуя, как к горлу подступают слезы обиды. — Мой папа инженер! Он строит мосты! А мама учит детей музыке! Вы ничего не знаете!

— Зато по телеку всё знают! — огрызается мальчик из параллельного. — Там врать не будут. Там сказали, что вы опасные. Экстремисты.

Они говорят странными взрослыми словами. Как будто выучили их наизусть и теперь повторяют. Эти слова совсем не подходят детям. Это как надеть огромную папину куртку — смешно и неудобно. Но с такими словами они почему-то чувствуют себя сильными. Страх будто перепрыгнул к ним из телевизора. Сначала взрослые испугались, когда смотрели новости. А потом дети принесли этот страх в школу и стали злыми. Раньше я была просто Аин. Та самая, которая давала списывать математику и делилась печеньем. А теперь они смотрят на меня так, будто я какая-то страшная плохая штука из телевизора. И мне от этого очень грустно.

Денис внезапно протягивает руку и хватает моего медведя за лапу.

— Отдай! — я вскакиваю с подоконника, роняя пенал.

Карандаши с грохотом рассыпаются по полу. Желтый, оранжевый, красный катятся под батарею.

— А это что за идол? Вы ему молитесь? — Денис поднимает медведя высоко над головой.

— Не трогай его! Пожалуйста! — я тянусь за игрушкой, но Артем толкает меня в плечо, и я больно ударяюсь спиной о подоконник.

— Лови! — Денис кидает медведя Артему. Тот ловит его и перекидывает следующему.

Они начинают играть моим медведем в «собачку». Я мещусь между ними, пытаюсь поймать игрушку, слезы застилают глаза, делая мир размытым и дрожащим. Я слышу их смех. Это не веселый смех, с которым мы играли на физкультуре. Это злой, лающий смех людей, упивающихся своей безнаказанностью.



— Отдайте! Он мой! — я бросаюсь на Дениса, когда медведь снова оказывается у него в руках. Я вцепляюсь в плюшевое туловище обеими руками и тяну на себя.

Денис дергает в свою сторону. Он сильнее. Он держит медведя за правое ухо.

Раздается сухой, мерзкий треск рвущейся ткани.

Денис отшатывается, в его руке остается зажатым круглое плюшевое ухо с торчащими из него белыми нитками и куском синтепона. Медведь падает на грязный линолеум школьного коридора.

Мы оба замираем. Смех мальчишек резко обрывается. Даже они понимают, что перешли какую-то невидимую черту. Одно дело — повторять слова из телевизора, другое — физически разрушить чужую вещь.

В этот момент из-за угла появляется Анна Николаевна. Она несет стопку тетрадей. Увидев нас, рассыпанные карандаши и меня, стоящую на коленях перед порванной игрушкой, она останавливается.

— Что здесь происходит? — её голос звучит устало.

Мальчишки мгновенно тушуются. Денис разжимает кулак, и оторванное ухо падает на пол рядом с моими коленями.

— Мы просто мимо шли, — быстро бормочет Артем, пятясь назад. — Она сама упала.

Они разворачиваются и быстро уходят по коридору, сливаясь с толпой других учеников.

Я сижу на полу, бережно поднимая медведя. Из дыры на его голове торчит белая набивка. Он выглядит жалким, искалеченным. Я прижимаю его к лицу, не обращая внимания на пыль с пола, и начинаю плакать. Мои плечи трясутся.



Анна Николаевна подходит ближе. Она смотрит на меня сверху вниз. Я жду, что она спросит, кто это сделал. Жду, что она позовет Дениса, что она защитит меня, как должна защищать учительница.

Но она лишь тяжело вздыхает.

— Аин, встань с пола. Собери карандаши и иди в туалет, умойся. Скоро звонок.

Она ничего не спрашивает у меня. Как будто не замечает. Наверное, ей страшно. Потому что если она скажет, что в классе меня обижают из-за нашей веры, то придётся спорить с другими взрослыми. А они ведь смотрят телевизор и верят всему, что там говорят. Мне кажется, учительница тоже боится. И от этого мне ещё страшнее. Потому что взрослые должны защищать детей. А я тогда чувствовала себя совсем одной и маленькой.

Она обходит меня и скрывается в учительской.

Я остаюсь одна в пустом коридоре. Медленно, непослушными пальцами, я собираю карандаши. Желтый и оранжевый я заталкиваю на самое дно пенала. Они мне больше не понадобятся.

Я иду в школьный туалет, кладу порванного медведя на край раковины, открываю кран и долго плещу в лицо ледяной водой. Вода смешивается со слезами. Я смотрю на себя в зеркало. Мои глаза покраснели, волосы растрепались. Я выгляжу чужой самой себе.

Я достаю дневник и кладу его на подоконник рядом с ра-

ковинной. Открываю на той странице, где нарисован серый класс. Беру темно-синий карандаш.

Я рисую своего медведя. Я прорисовываю каждую деталь: его пуговичные глаза, его вышитую улыбку, которая теперь кажется неуместной, и рваную рану на месте правого уха. Я закрашиваю фон вокруг него густым, холодным синим цветом, нажимая на грифель так сильно, что бумага начинает продавливаться. Цветовая палитра моего мира окончательно меняется. Тепло ушло. Остался только холод школьного кафеля и ледяные взгляды бывших друзей. Я закрываю дневник, беру своего одноухого медведя и выхожу в коридор, где уже звенит звонок, зовущий меня обратно в класс, который стал для меня вражеской территорией.

Глава 4. Рост враждебности

Толстая игла с трудом протыкает плотную плюшевую ткань. Я сижу на краю кровати, скрестив ноги, и пытаюсь пришить оторванное ухо моему медведю. Белая нитка путается, ложится кривыми, неровными стежками. Пальцы дрожат, и игла больно колет подушечку указательного пальца. Выступает крошечная капля крови. Я быстро слизываю её, чувствуя металлический привкус, и продолжаю тянуть нитку.



Медведь теперь выглядит иначе. Правое ухо пришито криво, оно слегка завалено набок, а из-под грубых черных стежков — белой нитки не хватило, пришлось взять ту, которой папа пришивал пуговицы к пальто, — торчит клочок синтепона. Игрушка больше не кажется беззаботной. У неё появился шрам. Я кладу медведя на подушку и долго смотрю на его пуговичные глаза. Мне кажется, что он осуждает меня за то, что я не смогла его защитить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.